

Лев Троцкий

**История русской революции.
Октябрьская революция**

«ВЕЧЕ»

1929

Троцкий Л. Д.

История русской революции. Октябрьская революция /
Л. Д. Троцкий — «ВЕЧЕ», 1929

ISBN 978-5-4444-8840-9

Воспоминания Л. Д. Троцкого рассказывают о событиях Октябрьской революции. Как активный участник революции, автор прекрасно осведомлен о ее деталях. Лидеры большевиков, тогда друзья и единомышленники, затем ставшие врагами Троцкого, получают на страницах этой книги нелестные характеристики. Несмотря на некоторую предвзятость автора к большевикам, описание событий поражает своей скрупулезностью, что вместе с хорошим слогом делает книгу интереснейшим чтением.

ISBN 978-5-4444-8840-9

© Троцкий Л. Д., 1929
© ВЕЧЕ, 1929

Содержание

Крестьянство перед Октябрем	6
Национальный вопрос	23
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Лев Троцкий
История русской революции.
Октябрьская революция

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

* * *

Крестьянство перед Октябрем

Цивилизация сделала крестьянина своим выючным ослом. Буржуазия в конце концов изменила лишь форму выюка. Едва терпимое у порога национальной жизни, крестьянство остается, по существу, и за порогом науки. Историк интересуется им обычно так же мало, как театральный критик – теми серыми фигурами, которые подметают подмостки, носят на спине небо и землю и моют уборную артистов. Участие крестьянства в революции прошлого до сих пор остается едва освещенным.

«Французская буржуазия начала с освобождения крестьян, – писал Маркс в 1848 году. – При помощи крестьян завоевала она Европу. Прусская буржуазия была так ограничена своими узкими, ближайшими интересами, что потеряла даже этого союзника и сделала его орудием в руках феодальной контрреволюции». В этом противопоставлении верно то, что относится к немецкой буржуазии; но утверждение, будто «французская буржуазия начала с освобождения крестьян», представляет собою отголосок официальной французской легенды, оказавшей в свое время влияние даже на Маркса. На самом деле буржуазия, в собственном смысле слова, противодействовала крестьянской революции, насколько хватало сил. Уже из деревенских наказов 1789 года местные вожди третьего сословия выбрасывали, под видом редактирования, наиболее резкие и смелые требования. Пресловутые решения 4 августа, принятые Национальным собранием при зареве сельских пожаров, долго оставались патетической формулой без содержания. Крестьян, которые не хотели мириться с обманом, Учредительное собрание заклиняло «вернуться к выполнению своих обязанностей и относиться к собственности (феодальной!) с надлежащим уважением». Гражданская гвардия не раз устремлялась в деревни на подавление крестьян. Городские рабочие, становясь на сторону восставших, встречали буржуазных усмирителей камнями и осколками черепицы.

В течение пяти лет французские крестьяне поднимались во все критические моменты революции, препятствуя сделке между феодальными и буржуазными собственниками. Парижские санкюлоты, проливая свою кровь за республику, освободили крестьян от феодальных пут. Французская республика 1792 года означала новый социальный режим, в отличие от немецкой республики 1918 года или испанской республики 1931 года, которые означают старый режим минус династии. В основе этого различия нетрудно найти аграрный вопрос.

Французский крестьянин непосредственно не думал о республике: он хотел сбросить помещика. Парижские республиканцы обычно забывали о деревне. Но только крестьянский натиск на помещиков обеспечивал создание республики, очищая для нее почву от феодального хлама. Республика с дворянством не есть республика. Это отлично понимал старик Макиавелли, который за четыреста лет до президентства Эберта в своей флорентийской ссылке, между охотой на дроздов и игрой в *tric trac* с мясником, обобщал опыт демократических переворотов: «Кто хочет основать республику в стране, где много дворян, не сможет этого сделать, если сначала не истребит их всех». Русские мужики были, в сущности, того же мнения, и они это обнаружили открыто, без всякого «макиавеллизма».

Если Петроград и Москва играли руководящую роль в движении рабочих и солдат, то первое место в крестьянском движении надо отвести отсталому великорусскому земледельческому центру и среднему Поволжью. Здесь пережитки крепостничества сохранили особенно глубокие корни, дворянская собственность на землю носила наиболее паразитический характер, дифференциация крестьянства отставала, тем более обнажая нищету деревни. Вспыхнув в этой полосе уже в марте, движение сразу окрашивается террором. Усилиями правящих партий оно вводится вскоре в русло соглашательской политики.

На промышленно отсталой Украине сельское хозяйство, работавшее на экспорт, приобрело гораздо более прогрессивный, следовательно, более капиталистический характер. Рас-

слоение крестьянства здесь зашло значительно дальше, чем в Великороссии. Борьба за национальное освобождение неизбежно тормозила, по крайней мере до поры до времени, другие виды социальной борьбы. Но различия областных и даже национальных условий выразились в конце концов лишь в различии сроков. К осени территорией крестьянского восстания становится почти вся страна. Из 624 уездов, составлявших старую Россию, движением захвачено 482 уезда, или 77 %; а без окраин, отличающихся особыми аграрными условиями, – Северного района, Закавказья, Степного края и Сибири – из 481 уезда в крестьянское восстание вовлечено 439 уездов, или 91 %.

Способы борьбы различаются, смотря по тому, идет ли дело о пашне, лесе, пастбищах, об аренде или наемном труде. Борьба меняет формы и методы на разных этапах революции. Но в общем движение деревни прошло, с неизбежным отставанием, через те же две большие стадии, что и движение городов. На первом этапе крестьянство приспосабливается еще к новому режиму и пытается разрешить свои задачи через посредство новых учреждений. Однако и здесь дело идет больше о форме, чем о существе. Московская либеральная газета, окрашенная до революции в народнические цвета, с похвальной непосредственностью выражала самочувствие помещичьих кругов летом 1917 года. «Мужик смотрит вокруг, он пока ничего не делает, но взгляните в его глаза, и глаза говорят, что вся земля, которая лежит вокруг него, – его земля». Незаменимым ключом к «мирной» политике крестьянства является апрельская телеграмма одного из тамбовских сел Временному правительству: «Желаем сохранить спокойствие в интересах добытых свобод, а потому запретите сдавать земли помещиков до Учредительного собрания, иначе мы прольем кровь, а пахать ее другим не дадим».

Мужику тем удобнее было выдерживать тон почтительной угрозы, что в нажиме на исторические права ему почти не приходилось непосредственно наталкиваться на государство. На местах отсутствовали органы правительственной власти. Милицией распоряжались волостные комитеты. Суды находились в расстройстве. Местные комиссары были бессильны. «Мы тебя выбрали, – кричали им крестьяне, мы тебя и выгоним».

Развивая борьбу предшествующих месяцев, крестьянство в течение лета все ближе подходит к гражданской войне и левым своим крылом переступает через ее порог. По сообщению земельных собственников Таганрогского округа, крестьяне самовольно захватывают сенокос, отбирают землю, препятствуют запашкам, назначают произвольные арендные цены, устраняют хозяев и управляющих. По донесению нижегородского комиссара, насильственные действия и захваты земель и лесов в губернии участились. Уездные комиссары боятся оказаться в глазах крестьян защитниками крупных землевладельцев. Сельская милиция малонадежна: «Бывали случаи, когда чины милиции участвовали вместе с толпой в насилиях». В Шлиссельбургском уезде волостной комитет запрещает землевладельцам рубить собственный лес. Мысль крестьян проста: никакое Учредительное собрание не сможет возродить из пней срубленные деревья. Комиссар министерства двора жалуется на захват покосов: сено для дворцовых лошадей приходится покупать! В Курской губернии крестьяне поделили между собою удобренные паровые поля Терещенко – владелец состоит министром иностранных дел. Коннозаводчику Орловской губернии Шнейдеру крестьяне заявили, что не только выкосят в его имени клевер, но и самого его будто бы «сдадут в солдаты». Управляющему имения Родзянко волостной комитет приказывал уступить крестьянам покос: «Если вы не будете слушать земельного комитета, будет с вами поступлено иначе, будете вы арестованы». Подпись и печать.

Изо всех углов текут жалобы и вопли: от потерпевших, от местных властей, от благородных свидетелей. Телеграммы землевладельцев представляют собою самое блистательное опровержение грубых теорий классовой борьбы. Титулованные помещики, владельцы латифундий, духовные и светские крепостники заботятся исключительно об общем благе. Враг – не крестьянин, а большевики, иногда анархисты. Собственные имения интересуют лендлордов единственно лишь с точки зрения преуспеяния отечества.

Триста членов кадетской партии из Черниговской губернии заявляют, что крестьяне, побуждаемые большевиками, снимают с работ военнопленных и производят самовольную уборку урожая; в результате угрожает «невозможность платить налоги». Смысл существования либеральные помещики видели в поддержании казначейства! Подольское отделение Государственного банка жалуется на самоуправство волостных комитетов, «председателями коих часто являются пленные австрийцы». Здесь говорит оскорбленный патриотизм. Во Владимирской губернии, в усадьбе нотариуса Одинцова, отбирается строительный материал, «заготовленный для благотворительных учреждений». Нотариусы живут только для дел чело-веколюбия! Епископ Подольский доносит на самоуправный захват леса, принадлежащего архи-ерейскому дому. Обер-прокурор жалуется на отобрание у Александро-Невской лавры луговых земель. Игуменя Кизлярского монастыря призывает громы на членов местного Совета: вме-шиваются в дела монастыря, конфискуют в свою пользу арендную плату, «возбуждают мона-хинь против начальства». Во всех этих случаях затронуты непосредственно интересы церкви. Граф Толстой, один из сыновей Льва Толстого, сообщает от имени Союза сельских хозяев Уфимской губернии, что передача земли местным комитетам, «не ожидая решения Учре-дительного собрания... вызовет взрыв недовольствия... среди крестьян-собственников, кото-рых в губернии более двухсот тысяч». Родовитый помещик печется исключительно о мень-шем брате. Сенатор Бельгардт, собственник Тверской губернии, готов примириться с лесными порубками, но скорбит по поводу того, что крестьяне «не желают подчиняться буржуазному правительству». Тамбовский помещик Вельяминов требует спасти два имения, которые «слу-жат нуждам армии». Случайно эти имения оказываются его собственными. Для философов идеализма помещичьи телеграммы 1917 года представляют суший клад. Материалист увидит в них скорее выставку образцов цинизма. Он прибавит, пожалуй, что великие революции отни-мают у имущих даже возможность пристойного лицемерия.

Обращения потерпевших к уездным и губернским властям, к министру внутренних дел, к председателю Совета министров по общему правилу безрезультатны. У кого же просить помощи? У Родзянко, председателя Государственной думы. Между июльскими днями и кор-ниловским восстанием камергер вновь чувствует себя влиятельной фигурой: многое делается по его телефонному звонку.

Чиновники министерства внутренних дел посылают на места циркуляры о предании виновных суду. Заскорузлые самарские помещики телеграфируют в ответ: «Циркуляры без подписи министров-социалистов силы не имеют». Так обнаруживается польза социализма. Церетели пришлось преодолеть застенчивость: 18 июля он посылает многословное предписа-ние о принятии «скорых и решительных мер». Как и сами помещики, Церетели заботится только об армии и государстве. Крестьянам кажется, однако, что Церетели ограждает помещи-ков.

В умирительных методах правительства наступает перелом. До июля применялось пре-имущественно заговаривание зубов. Если воинские отряды и посылались на места, то лишь в качестве прикрытия для правительственного оратора. После победы над петроградскими рабочими и солдатами кавалерийские команды, уже без уговаривателей, поступают непосред-ственно в распоряжение помещиков. В Казанской губернии, одной из наиболее беспокойных, удалось, по словам молодого историка Югова, только «путем арестов, ввода вооруженных команд в деревни, даже возрождения порки... заставить крестьян на время смириться». И в других местах репрессии не остаются без действия. Число пострадавших помещичьих имений в июле несколько снизилось: с 516 до 503. В августе правительству удалось достигнуть даль-нейших успехов: число неблагополучных уездов с 325 упало до 288, на 11 %; число захвачен-ных движением имений уменьшилось даже на 33 %.

Некоторые районы, наиболее до сих пор беспокойные, затихают или отходят на второй план. Наоборот, районы, вчера еще благонадежные, сегодня вступают на путь борьбы. Всего

месяц тому назад пензенский комиссар рисовал утешительную картину: «Деревня занята уборкой урожая... Идет подготовка к выборам в волостные земства. Период кризиса власти прошел спокойно. Образование нового правительства встречено с большим удовлетворением». В августе от этой идиллии уже не остается и следа: «Массовое хищение садов и порубки леса... Для ликвидации беспорядков приходится прибегать к вооруженной силе».

По общему характеру своему летнее движение все еще относится к «мирному» периоду. Однако в нем наблюдаются уже, правда слабые, но безошибочные, симптомы радикализации: если в первые четыре месяца случаи прямого нападения на помещичьи усадьбы убывают, с июля они начинают возрастать. Исследователи устанавливают в общем такую классификацию июльских столкновений в порядке убывающего ряда: захваты лугов, урожаев, продовольствия и фуража, пашни, инвентаря; борьба из-за условий найма; разгромы имений. В августе: захваты урожаев, запасов продовольствия и фуража, лугов и покосов, земель и леса; аграрный террор.

В начале сентября Керенский, в качестве Верховного главнокомандующего, повторяет в особом приказе недавние доводы и угрозы своего предшественника Корнилова против «насильственных действий» со стороны крестьян. Через несколько дней Ленин пишет: «Либо... вся земля крестьянам тотчас... Либо помещики и капиталисты... доведут дело до бесконечно свирепого крестьянского восстания». В течение ближайшего месяца это стало фактом.

Число имений, охваченных аграрными столкновениями, поднялось в сентябре, по сравнению с августом, на 30 %; в октябре, по сравнению с сентябрем, – на 43 %. На сентябрь и первые три недели октября приходится свыше трети всех зарегистрированных с марта аграрных столкновений. Решительность их выросла, однако, неизмеримо больше, чем их число. В первые месяцы даже прямые захваты различных угодий принимали вид сделок, смягченных и прикрытых соглашательскими органами. Теперь легальная маскировка отпадает. Каждая из отраслей движения принимает более дерзкий характер. От разных видов и степеней нажима крестьяне переходят к насильственному захвату составных частей помещичьего хозяйства, к разгрому барских гнезд, к поджогам усадеб, даже убийствам владельцев и управляющих.

Борьба за изменение условий аренды, в июне превышавшая по числу случаев разгромное движение, в октябре не составляет и 1/40 числа разгромов, причем и само арендное движение меняет свой характер, становясь лишь другой формой изгнания помещиков. Запрещение купли-продажи земли и леса уступает место прямому захвату. Массовые порубки и массовые потравы принимают характер намеренного уничтожения помещичьего добра. Случаев открытого разгрома имений зарегистрировано в сентябре 279; они уже составляют более восьмой части всех конфликтов. Октябрь дает свыше 42 % всех случаев разгрома, зарегистрированных милицией между Февральским и Октябрьским переворотами.

Особо ожесточенный характер приняла борьба из-за леса. Деревни часто выгорали дотла. Строевой лес крепко охранялся и продавался дорого. Мужик изголодался по дереву. К тому же настала пора запасаться на зиму дровами. Из Московской губернии, Нижегородской, Петроградской, Орловской, Волынской, со всех концов страны поступают жалобы на разгром лесов и захват готовых дровяных запасов. «Крестьяне самовольно и беспощадно рубят лес». «Крестьянами сожжено 200 десятин помещичьего леса». «Крестьяне Климовического и Чериковского уездов уничтожают лес и губят озимые поля...» Лесная стража спасается бегством. Стонет дворянский лес, щепки летят по всей стране. Мужичий топор отбивает в течение всей осени лихорадочный такт революции.

В районах, ввозящих хлеб, продовольственное положение еще резче, чем в городах. Не хватало не только пропитания, но и семян. В вывозящих районах, вследствие усиленной выкачки продовольственных ресурсов, положение было немногим лучше. Повышение твердых цен на зерновые хлеба ударило по бедноте. В ряде губерний начались голодные волнения, разгромы хлебных амбаров, нападения на продовольственные органы. Население переходило к

суррогатам хлеба. Шли сообщения о заболеваниях цингой и тифом, о самоубийствах на почве безвыходности. Голод или призрак его делал особенно невыносимым соседство довольства и роскоши. Наиболее нуждающиеся слои деревни выдвигались в передние ряды.

Волны ожесточения поднимали со дна немало муты. В Костромской губернии «наблюдается черносотенная и антиеврейская агитация. Преступность развивается... Замечается упадок интереса к политической жизни страны». Последняя фраза в донесении комиссара означает: образованные классы поворачиваются спиной к революции. Неожиданно раздается в Подольской губернии голос черносотенного монархизма: комитет села Демидовки не признает Временного правительства и «вернейшим вождем русского народа» считает государя Николая Александровича; если Временное правительство не уйдет, то «мы примкнем к немцу». Такие смелые признания, однако, единичны: монархисты из крестьян давно перекрасились вслед за помещиками. Местами, как в той же Подольской губернии, воинские части вместе с крестьянами громят винокуренные заводы. Комиссар доносит об анархии. «Гибнут села и люди; гибнет революция». Нет, революция далека от гибели. Она прокладывает себе более глубокое русло. Ее неистовые воды приближаются к устью.

В ночь под 8 сентября крестьяне села Сычевки, Тамбовской губернии, с дубинами и вилами, идя со двора на двор, созывают всех от мала до велика громить помещика Романова. На сходе одна группа предлагает отобрать имение в порядке, разделить имущество между населением, постройки сохранить для культурных целей.

Беднота требует сжечь усадьбу, не оставлять камня на камне. Бедноты больше. В ту же ночь море огня охватило имения всей волости. Было сожжено все, что поддавалось пламени, даже опытное поле, вырезан племенной скот, «пьянствовали до безумия». Огонь перекидывается из волости в волость. Лапотное воинство не ограничивается уже патриархальными вилами и косами. Губернский комиссар телеграфирует: «Крестьяне и неизвестные лица, вооруженные револьверами и ручными гранатами, громят имения в Раненбургском и Ряжском уездах». Высокую технику в крестьянское восстание внесла война. Союз собственников доносит, что за три дня сожжено 24 имения. «Местные власти бессильны восстановить порядок». С запозданием прибыл отряд, посланный командующим войсками, введено военное положение, запрещены собрания, идут аресты зачинщиков. Овраги завалены помещичьим добром, реки поглощают немало награбленного.

Пензенский крестьянин Бегишев рассказывает: «В сентябре все поехали громить Логвина (его громили еще в 1905 году). К имению и от него тянулась вереница упряжек, сотни мужиков и баб стали угонять и увозить скот, хлеб и пр. Вытребованный Земской управой отряд пытался отбить кое-что из захваченного, но баб и мужиков собралось к волости около 500 человек, и отряд разъехался». Солдаты, очевидно, совсем не рвались восстанавливать погранные помещичьи права.

Начиная с последних чисел сентября, в Таврической губернии, по воспоминаниям крестьянина Гапоненко, «крестьяне стали громить экономии, разгонять заведывающих, забирать хлеб из амбаров, рабочий скот, мертвый инвентарь... Даже ставни с окон, двери с построек, полы из комнат и крыши цинковые срывались и забирались». «Сперва приходили только пешком, брали и носили, – рассказывает минский крестьянин Грунько, – а потом уже позапрягали коней, кто имел, и целыми обозами возили. Не было розмина... Так возили и носили, как начали с 12 часов дня, двое суток днем и ночью без перебива. За эти двое суток очистили все». Захват имущества, по словам московского крестьянина Кузьмичева, оправдывали так: «Помещик был наш, мы ему работали, и достояние, бывшее у него, нам одним должно достаться». Некогда дворянин говорил крепостным: «Вы – мои, и все ваше – мое». Теперь крестьяне откликнулись: «Барин наш, и все добро наше».

«В некоторых местах стали тревожить помещиков по ночам, – вспоминает другой минский крестьянин Новиков. – Все чаще стали гореть помещичьи усадьбы». Дошла очередь

до имени великого князя Николая Николаевича, бывшего Верховного главнокомандующего. «Когда забрали все то, что можно было забрать, то принялись ломать печи и выбирать вьюшки, вынимать полы и доски и все это таскать домой...» За этими разрушительными действиями стоял многовековой, тысячелетний расчет всех крестьянских войн: скрыть до основания укрепленные позиции врага, не оставить места, где он мог бы преклонить голову. «Более благо-разумные, – вспоминает курский крестьянин Цыганков, – говорили: “Не нужно уничтожать постройки, они нам будут нужны... для школ и больниц”, но большинство было таких, кото-рые кричали, что нужно все уничтожить, чтобы негде было укрываться на случай чего нашим врагам...» «Крестьяне захватывали все помещичье имущество, – рассказывает орловский кре-стьянин Савченко, – выгоняли помещиков из имений, выламывали в домах помещиков окна, двери, полы, потолки... Солдаты говорили, что если разорять волчиные гнезда, то нужно и волков подавить. Через такие угрозы главные и крупные помещики поскрывались, поэтому убийств помещиков не было».

В деревне Залесье, Витебской губернии, сожгли амбары с зерном и сеном в принадлежащем французу Барнарду имении. Мужики тем меньше склонны были разбираться в поддан-стве, что многие помещики спешили переводить свои земли на привилегированных иностран-цев. «Французское посольство просит принять меры». В прифронтовой полосе в середине октября трудно было принимать «меры» даже и в угоду французскому посольству.

Разгром большого имения под Рязанью шел четыре дня, «в грабеже участвовали даже дети». Союз земельных собственников довел до сведения министров, что если не будут при-няты меры, то «возникнут самосуды, голод и гражданская война». Непонятно, почему поме-щики о гражданской войне все еще говорят в будущем.

На съезде кооперации Беркенгейм один из вождей крепкого торгового крестьянства гово-рил в начале сентября: «Я убежден, что не вся еще Россия превратилась в сумасшедший дом, что пока обезумело главным образом население больших городов». Этот самодовольный голос солидной и консервативной части крестьянства безнадежно запоздал: как раз в этом месяце деревня окончательно сорвалась со всех петель благоразумия и неистовством борьбы далеко оставила за собой «сумасшедшие дома» городов.

В апреле Ленин считал еще возможным, что патриотические кооператоры и кулаки потя-нут за собой главную массу крестьянства на путь соглашения с буржуазией и помещиками. Тем неутомимее он настаивал на создании особых советов батрацких депутатов и на самостоятель-ной организации беднейших крестьян. Месяц за месяцем обнаруживал, однако, что эта часть большевистской политики не прививается. За вычетом Прибалтики, батрацких советов совер-шенно не было. Крестьянская беднота также не нашла самостоятельных форм организации. Объяснять это только отсталостью батраков и беднейших слоев деревни значило бы обходить существо дела. Главная причина коренилась в существо самой исторической задачи: демокра-тического аграрного переворота.

На двух важнейших вопросах – аренды и наемного труда – убедительнее всего обнаружи-вается, как общие интересы борьбы с пережитками крепостничества отрезали дорогу к само-стоятельной политике не только бедноте, но и батракам. Крестьяне арендовали у помещиков в Европейской России 37 миллионов десятин, около 60 % всей частновладельческой земли, и уплачивали ежегодную арендную дань в 400 миллионов рублей. Борьба против кабальных условий аренды стала после Февральского переворота важнейшим элементом крестьянского движения. Меньшее, но все же очень значительное место заняла борьба сельских рабочих, противопоставлявшая их не только помещичьей, но и крестьянской эксплуатации. Аренда-тор боролся за облегчение условий аренды, рабочий – за улучшение условий труда. Оба они, каждый по-своему, исходили из признания помещика собственником и хозяином. Но с того момента, когда открылась возможность довести дело до конца, т. е. отобрать землю и самим сесть на нее, беднота переставала интересоваться вопросами аренды, а профессиональный

союз начинал терять свою притягательную силу для батрака. Именно сельские рабочие и бедняки-арендаторы своим присоединением к общему движению придали крестьянской войне последнюю решительность и бесповоротность. Не с такой полнотой поход против помещиков захватывал и противоположный полюс деревни. Пока дело не доходило до открытого восстания, верхи крестьянства играли в движении видную, подчас руководящую роль. В осенний период зажиточные мужики со все возрастающим недоверием глядели на разлив крестьянской войны: они не знали, чем это кончится, у них было, что терять, – они отодвигались к стороне. Но отстраниться полностью им все же не удалось: деревня не позволила.

Замкнутее и враждебнее, чем «свои», общинные кулаки, держали себя стоявшие вне общины мелкие земельные собственники. Крестьян, владевших участками до 50 десятин, насчитывалось во всей стране 600 000 дворов. Они составляли во многих местах хребет кооперативов и политически тяготели, особенно на юге, к консервативному Крестьянскому союзу, составлявшему уже мост к кадетам. «Отрубники и богатые крестьяне, – по словам минского крестьянина Гулиса, – поддерживали помещиков, пытаясь унять крестьянство уговорами». Кое-где под влиянием местных условий борьба внутри крестьянства принимала свирепый характер уже до октябрьского переворота. Особенно жестоко страдали при этом отрубники. «Почти все хутора, – рассказывает нижегородский крестьянин Кузьмичев, – были сожжены, имущество их было частью уничтожено, а частью захвачено крестьянами». Отрубник был «помещичьим слугою, доверенным нескольких помещичьих лесных дач; был любимцем полиции, жандармерии и своих господ». Наиболее богатые крестьяне и торговцы некоторых волостей Нижегородского уезда скрылись осенью и вернулись на свои места лишь через два-три года.

Но в большей части страны внутренние отношения деревни далеко еще не достигали такой остроты. Кулаки вели себя дипломатично, тормозили и противодействовали, но старались не слишком противопоставлять себя «миру». Рядовая деревня со своей стороны очень ревниво следила за кулачеством, не давая ему объединяться с помещиками. Борьба между дворянами и крестьянами за влияние на кулака проходит через весь 1917 год в разнообразных формах, от «дружественного» воздействия до свирепого террора.

В то время как владельцы латифундий заискивающе открывали перед крестьянами-собственниками парадные двери дворянского собрания, мелкие землевладельцы демонстративно отмежевывались от дворян, чтобы не погибнуть вместе с ними. На языке политики это выражалось в том, что помещики, принадлежавшие до революции к крайним правым партиям, перекрашивались теперь в цвет либерализма, принимая его по старой памяти за защитный цвет, между тем как собственники из крестьян, нередко поддерживавшие раньше кадетов, теперь отодвигались влево.

Съезд мелких собственников Пермской губернии в сентябре резко отмежевывался от московского съезда землевладельцев, во главе которого стояли «графы, князья, бароны». Владелец 50 десятин говорил: «Кадеты никогда не ходили в армяках и лаптях и поэтому никогда не будут защищать наши интересы». Отталкиваясь от либералов, трудовые собственники искали таких «социалистов», которые стояли бы за собственность. Один из делегатов высказывался за социал-демократию. «...Рабочий? Дайте ему земли, он придет в деревню и перестанет харкать кровью. Социал-демократы у нас земли не отнимут». Речь шла, конечно, о меньшевиках. «Своей земли мы никогда не отдадим. Легко расстаться с ней тому, кому легко досталась она, как, например, помещику. Крестьянину же земля досталась тяжело».

В этот осенний период деревня боролась с кулаками, не отбрасывая их от себя, а, наоборот, заставляя их примыкать к общему движению и прикрывать его от ударов справа. Бывали даже случаи, когда уклонение от участия в разгроме каралось смертью послушника. Кулак вилял, пока мог, но в последнюю минуту, почесав лишний раз в затылке, запрягал кованую телегу сытыми лошадьми и выезжал за своей долей. Нередко она оказывалась львиной.

«Попользовались главным образом зажиточные, – рассказывает пензенский крестьянин Бегишев, – у которых были лошади и свободные люди». Почти теми же словами выражается и орловец Савченко: «Воспользовались большинство кулаки, которые были сыты и было чем лес возить...»

По подсчету Верменичева, на 4954 аграрных конфликта с помещиками в течение февраля – октября приходится всего 324 конфликта с крестьянской буржуазией. Замечательно яркое соотношение! Оно одно неоспоримо устанавливает, что крестьянское движение 1917 года в социальной основе своей было направлено не против капитализма, а против пережитков крепостничества. Борьба с кулачеством развернулась лишь позже, уже в 1918 году, после окончательной ликвидации помещиков. Чисто демократический характер крестьянского движения, который должен бы, казалось, придать официальной демократии несокрушимую силу, на самом деле полнее всего обнаружил ее гнилость. Если глядеть сверху, крестьянство сплошь возглавлялось эсерами, выбирало их, шло за ними, почти сливалось с ними. На майском съезде крестьянских советов Чернов получил при выборах в Исполнительный комитет 810 голосов, Керенский – 804, тогда как Ленин собрал всего-навсего 20 голосов. Недаром Чернов именовал себя селянским министром! Но недаром и стратегия сел круто разошлась со стратегией Чернова.

Хозяйственная разобщенность делает крестьян, столь решительных в борьбе с конкретным помещиком, бессильными пред обобщенным помещиком в лице государства. Отсюда органическая потребность мужика опереться на сказочное государство против реального. В старину он создавал самозванцев, спланивался вокруг мнимой золотой грамоты царя или вокруг легенды о праведной земле. После Февральской революции он объединялся вокруг эсеровского знамени «Земля и воля», ища в нем помощи против либерального помещика, ставшего комиссаром. Народническая программа относилась к реальному правительству Керенского, как поддельная царская грамота – к реальному самодержцу.

В программе эсеров всегда было много утопического: они собирались строить социализм на основе мелкого товарного хозяйства. Но основа программы была демократически-революционная: отобрание земли у помещиков. Став перед необходимостью выполнять программу, партия запуталась в коалиции. Против конфискации земли непримиримо восставали не только помещики, но и кадетские банкиры: под земельную собственность банки выдали не меньше 4 миллиардов рублей. Собираясь в Учредительном собрании поторговаться с помещиками насчет цены, но кончить полюбовно, эсеры усердно не подпускали мужика к земле. Они срывались, таким образом, не на утопическом характере своего социализма, а на своей демократической несостоятельности. Проверка их утопизма могла бы потребовать годов. Их измена аграрному демократизму стала ясна в течение месяцев: при правительстве эсеров крестьяне должны были становиться на путь восстания, чтобы выполнить программу эсеров.

В июле, когда правительство ударило по деревне репрессиями, крестьяне сторяча бросились под прикрытие тех же эсеров: у Понтия-младшего они искали защиты от Пилата-старшего. Месяц наибольшего ослабления большевиков в городах становится месяцем наибольшей экспансии эсеров в деревне. Как это обычно бывает, особенно в революционную эпоху, максимум организационного охвата совпал с началом политического упадка. Укрываясь за эсеров от ударов эсеровского правительства, крестьяне все больше теряли доверие и к правительству, и к партии. Так, разбухание эсеровских организаций в деревне стало смертельным для этой универсальной партии, которая снизу восставала, а сверху усмиряла.

В Москве на собрании Военной организации 30 июля делегат с фронта, сам эсер, говорил: хотя крестьяне все еще считают себя эсерами, но между ними и партией образовалась трещина. Солдаты подтверждали: под влиянием эсеровской агитации, крестьяне все еще враждебны к большевикам, но вопросы о земле и власти разрешают на деле по-большевистски. Работавший на Волге большевик Поволжский свидетельствует, что наиболее почтенные эсеры, участники

движения 1905 года, все более чувствовали себя оттертыми: «Мужички звали их “стариками”, относились с внешним уважением, а голосовали по-своему». Голосовать и действовать «по-своему» учили деревню рабочие и солдаты.

Взвесить революционное влияние рабочих на крестьянство невозможно: оно имело постоянный, молекулярный, всюду проникающий и поэтому не поддающийся учету характер. Взаимопроникновение облегчалось тем, что значительная часть промышленных предприятий размещена в сельских местностях. Но даже и рабочие Петрограда, наиболее европейского из городов, сохраняли близкие связи с родными деревнями. Усилившаяся в летние месяцы безработица и локауты предпринимателей выбрасывали в деревню многие тысячи рабочих; большинство их становилось агитаторами и вожаками.

В мае – июне в Петрограде создаются рабочие землячества по отдельным губерниям, уездам, даже волостям. Целые столбцы в рабочей прессе посвящены объявлениям о земляческих собраниях, где заслушивались отчеты о поездках в деревню, составлялись наказы делегатам, изыскивались денежные средства на агитацию. Незадолго до переворота землячества объединились вокруг особого Центрального бюро под руководством большевиков. Земляческое движение распространилось вскоре на Москву, Тверь, вероятно, и на ряд других промышленных городов.

Однако в смысле непосредственного воздействия на деревню еще большее значение имели солдаты. Только в искусственных условиях фронта или городской казармы молодые крестьяне, преодолевая до известной степени свою разобщенность, становились лицом к лицу с проблемами национального масштаба. Политическая несамостоятельность давала, однако, знать себя и здесь. Неизменно подпадая под руководство патриотических и консервативных интеллигентов и стремясь освободиться от них, крестьяне пытались сплотиться в армии особо от других социальных групп. Власти относились к таким поползновениям неблагоприятно, военное министерство противодействовало, эсеры не шли навстречу, советы крестьянских депутатов прививались в армии слабо. Даже при самых благоприятных условиях крестьянин не в силах превратить свое подавляющее количество в политическое качество!

Только в крупных революционных центрах, под прямым воздействием рабочих, советы крестьян-солдат успели развернуть значительную работу. Так, крестьянский Совет в Петрограде с апреля 1917 по 1 января 1918 года послал в деревню 1395 агитаторов, которым были выданы специальные мандаты; столько же примерно выехало без мандатов. Делегаты объехали 65 губерний. В Кронштадте среди матросов и солдат создавались по примеру рабочих землячества, которые выдавали делегатам удостоверения в «праве» на бесплатный проезд по железным дорогам и на судах. Частные дороги принимали такие свидетельства безропотно, на казенных возникали конфликты.

Официальные делегаты организаций были все же каплями в крестьянском океане. Неизмеримо большую работу выполнили те сотни тысяч и миллионы солдат, которые самовольно покидали фронт и тыловые гарнизоны, унося в ушах крепкие лозунги митинговых речей. Молчуну на фронте становились у себя в деревне говорунами. Недостатка в жадных слушателях не было. «Среди крестьянства, окружавшего Москву, – рассказывает один из московских большевиков, Муралов, – происходил громадный сдвиг влево... Московские села и деревни кишели дезертирами с фронта. Туда же проникал и столичный пролетарий, не порвавший еще связи с деревней». Дремавшую калужскую деревню, по рассказу крестьянина Наумченкова, «разбудили солдаты, прибывавшие с фронта по разным причинам в период июня – июля». Нижегородский комиссар доносил, что «все правонарушения и беззакония имеют связь с появлением в пределах губернии дезертиров, отпускных солдат или делегатов от полковых комитетов». Главноуправляющий именными княгини Барятинской Золотоношского уезда жалуется в августе на самоуправство земельного комитета, где председательствует кронштадтский матрос Гатран. «Прибывшими в отпуск солдатами и матросами, – доносит комиссар Бугульминского уезда, –

ведется агитация с целью создать анархию и погромное настроение». «В Мглинском уезде, в селе Белогош, приехавший матрос самовольно запретил заготовку и вывозку дров и шпал из леса». Если не солдаты начинали борьбу, то они ее заканчивали. В Нижегородском уезде мужики теснили женский монастырь, косили луга, разломали заборы, не давали монашкам проходу. Настоятельница не сдавалась, милиционеры увозили мужиков на расправу. «Так дело тянулось, – пишет крестьянин Арбеков, – до прихода солдат. Фронтвики сразу взяли быка за рога»: монастырь был очищен. В Могилевской губернии, по словам крестьянина Бобкова, «солдаты, которые вернулись с фронта домой, были первыми жожаками в комитетах и руководили изгнанием помещиков».

Фронтвики вносили в дело тяжелую решимость людей, привыкших обращаться с винтовкой и штыком против человека. Даже солдатские жены перенимали от мужей боевые настроения. «В сентябре, – рассказывает пензенский крестьянин Бегишев, – сильное было движение баб-солдаток, которые выступали на судах за разгром». То же наблюдалось в других губерниях. Солдатки и в городах являлись нередко бродилом.

Таких случаев, когда во главе крестьянских беспорядков оказывались солдаты, приходилось, по подсчету Верменичева, в марте – 1 %, в апреле – 8, в сентябре – 13, в октябре – 17 %. Такой подсчет не может претендовать на точность, но общую тенденцию он указывает безошибочно. Умеряющее руководство эсеровских учителей, писарей и чиновников заменялось руководством ни перед чем не останавливающимися солдат.

Выдающийся в свое время немецкий марксистский писатель Парвус, который сумел во время войны приобрести богатство, но растерять принципы и пронизательность, сравнивал русских солдат со средневековыми ландскнехтами, грабителями и насильниками. Для этого нужно было не видеть, что, при всех своих бесчинствах, русские солдаты оставались лишь исполнительным органом величайшей в истории аграрной революции.

Пока движение не порывало окончательно с легальностью, посылка войск в деревни сохраняла символический характер. Применять на деле в качестве усмирителей можно было почти только казаков. «В Сердобский уезд отправлено 400 казаков... Эта мера подействовала успокоительно. Крестьяне заявляют, что будут ждать Учредительного собрания», – пишет 11 октября либеральное «Русское слово». 400 казаков – несомненный довод за Учредительное собрание! Но казаков не хватало, к тому же и они расшатывались. Между тем правительство вынуждалось все чаще принимать «решительные меры». В первые четыре месяца Верменичев насчитывает 17 случаев посылки военной силы против крестьян; в июле и августе – 39 случаев, в сентябре и октябре – 105 случаев.

Усмирять крестьян вооруженной силой значило заливать пожар маслом. Солдаты в большинстве случаев переходили на сторону крестьян. Уездный комиссар Подольской губернии доносит: «Войсковые организации и даже отдельные части разрешают социальные и экономические вопросы, заставляют (?) крестьян производить захваты и рубить лес, а иногда, местами, сами участвуют в грабежах... Местные войсковые части отказываются принимать участие в прекращении насилий...». Так восстание деревни разрушало последние скрепы в армии. Не могло быть и речи о том, чтобы в условиях крестьянской войны, возглавленной рабочими, армия позволила себя бросить против восстания в городах.

От рабочих и солдат крестьяне впервые узнавали новое, не то, что им говорили эсеры, о большевиках. Лозунги Ленина и его имя проникают в деревню. Все учащающиеся жалобы на большевиков имеют, однако, во многих случаях вымышленный или преувеличенный характер: помещики надеются таким путем вернее добиться помощи. «В Островском уезде полная анархия вследствие пропаганды большевизма». Из Уфимской губернии: «Член волостного комитета Васильев распространяет программу большевиков и открыто заявляет, что помещики будут повешены». Ищущий «защиты от грабежа» новгородский помещик Полонник не забывает присовокупить: «исполнительные комитеты переполнены большевиками»; это зна-

чит – недоброжелателями помещика. «В августе, – вспоминает симбирский крестьянин Зуморин, – по селам стали ездить рабочие, агитировали за партию большевиков, рассказали об ее программе». Следователь Себежского уезда ведет дело о прибывшей из Петрограда ткачихе Татьяне Михайловой, 26 лет, которая призывала в своем селе «к свержению Временного правительства и восхваляла тактику Ленина». В Смоленской губернии к концу августа, как свидетельствует крестьянин Котов, «Лениным стали интересоваться, к голосу Ленина стали прислушиваться»... В волостные земства все еще, однако, выбираются в громадном большинстве эсеры.

Большевистская партия старается ближе подойти к крестьянину. 10 сентября Невский требует от Петроградского комитета приступить к изданию крестьянской газеты: «Надо поставить дело так, чтобы не пережить того, что пережила французская коммуна, когда крестьянство не поняло Парижа, а Париж не понял крестьянства». Газета «Бедного» стала вскоре выходить. Но чисто партийная работа в крестьянстве оставалась все же незначительной. Сила большевистской партии была не в технических средствах, не в аппарате, а в правильной политике. Как воздушные течения разносят семена, так вихри революции разносили идеи Ленина.

«К сентябрю месяцу, – вспоминает тверской крестьянин Воробьев, – на собраниях все чаще и смелее в защиту большевиков начинают выступать уже не фронтовики, а сами крестьяне-бедняки...» «Среди бедноты и некоторых середняков, – подтверждает симбирский крестьянин Зуморин, – имя Ленина не сходило с уст, только и разговору было о Ленине». Новгородский крестьянин Григорьев рассказывает о том, как эсер в волости назвал большевиков «захватчиками» и «предателями». Как загудели мужики: «Долой собаку, бей его булыжником! Сказки нам не говори – где земля? Довольно! Давай большевика!» Возможно, впрочем, что этот эпизод – таких и подобных было немало – относится уже к послеоктябрьскому периоду: в крестьянских воспоминаниях крепко стоят факты, но слаба хронология.

Солдата Чиненова, привезшего к себе в Орловскую губернию сундук с большевистской литературой, родная деревня встретила неприветливо: наверно, германское золото. Но в октябре «волостная ячейка имела до 700 членов, много винтовок и всегда шла на защиту советской власти». Большевик Врачев рассказывает, как крестьяне чисто земледельческой Воронежской губернии, «очнувшись от эсеровского угара, стали интересоваться нашей партией, благодаря чему мы уже имели немало сельских и волостных ячеек, подписчиков на свои газеты и принимали многих ходоков в тесном помещении своего комитета». В Смоленской губернии, по воспоминаниям Иванова, «в деревнях большевики были очень редки, в уездах их было очень мало, газет большевистских не было, листки издавались очень редко... И тем не менее, чем ближе было к октябрю, тем деревня все более и более поворачивала к большевикам...»

«В тех уездах, где до октября было большевистское влияние в советах, – пишет тот же Иванов, – стихия разгрома помещичьих имений или не проявлялась, или проявлялась в слабой степени». Дело, однако, обстояло на этот счет не везде одинаково. «Требования большевиков о передаче земли крестьянам, – рассказывает, например, Тадеуш, – особенно быстро воспринимались массой крестьян Могилевского уезда, которые громили имения, а некоторые жгли, забирали покосы, леса». Противоречия между этими показаниями, в сущности, нет. Общая агитация большевиков, несомненно, питала гражданскую войну в деревне. Но там, где большевики успевали пустить более прочные корни, они, естественно, стремились, не ослабляя крестьянского натиска, упорядочить его формы и уменьшить разрушения.

Земельный вопрос не стоял особняком. Крестьянин страдал, особенно в последний период войны, как продавец и как покупатель: хлеб у него забирали по твердым ценам, продукты промышленности становились все недоступнее. Проблема экономического соотношения деревни и города, которой предстоит впоследствии под именем «ножниц» стать центральной проблемой советского хозяйства, показывает уже свой грозный облик. Большевики говорили крестьянину: советы должны взять власть, передать тебе землю, кончить войну, демо-

близовать промышленность, установить рабочий контроль над производством, регулировать взаимоотношение цен промышленных и сельскохозяйственных продуктов. Как ни суммарен был этот ответ, но он намечал путь. «Средостением между нами и крестьянством, – говорил Троцкий 10 октября на конференции завкомов, – являются авксентьевские советчики. Нужно пробить эту стену. Нужно объяснить деревне, что все попытки рабочего помочь крестьянину снабжением деревни сельскохозяйственными орудиями будут безрезультатны до тех пор, пока не будет установлен рабочий контроль над организованным производством». В этом духе конференция выпустила манифест к крестьянам.

Петроградские рабочие создали тем временем на заводах особые комиссии, которые собирали металл, браковочные части и обрезки в распоряжение специального центра «Рабочий – крестьянину». Лом шел на выделку простейших сельскохозяйственных орудий и запасных частей. Это первое плановое вторжение рабочих в ход производства, еще незначительное по объему, с перевесом агитационных целей над экономическими, приоткрывало, однако, перспективу близкого будущего. Испуганный вторжением большевиков в заповедную область деревни крестьянский Исполнительный комитет сделал попытку овладеть новым начинанием. Но тягаться с большевиками на городской арене было совсем уже не под силу одряхлевшим соглашателям, которые и в деревне теряли почву под ногами.

Эхо агитации большевиков «настолько взбудоражило бедняцкое крестьянство, – писал впоследствии тверской крестьянин Воробьев, – что можно определенно сказать: не будь Октября в октябре, он был бы в ноябре». Эта красочная характеристика политической силы большевизма не находится ни в каком противоречии с фактом его организационной слабости. Через такие острые диспропорции только и может прокладывать себе дорогу революция. Именно поэтому, к слову сказать, ее движение невозможно вогнать в рамки формальной демократии. Чтобы аграрный переворот мог совершиться в октябре или ноябре, крестьянству не оставалось ничего другого, как использовать расплывающуюся ткань все той же партии эсеров. Левые ее элементы спешно и беспорядочно группируются под натиском крестьянского восстания, тянутся за большевиками и соперничают с ними. В течение ближайших месяцев политический сдвиг крестьянства пойдет главным образом под лоскутным знаменем левых эсеров: эта эфемерная партия становится отраженной и неустойчивой формой деревенского большевизма, временным мостом от крестьянской войны к пролетарскому перевороту.

Аграрная революция нуждалась в собственных органах на местах. Как они выглядели? В деревне существовали организации нескольких типов: государственные, как исполнительные комитеты волостей, земельные и продовольственные комитеты; общественные, как советы; чисто политические, как партии; наконец, органы самоуправления в лице волостного земства. Крестьянские советы успели развернуться только в губернском, отчасти в уездном масштабе; волостных советов было мало. Волостные земства туго прививались. Наоборот, земельные и исполнительные комитеты, по замыслу, государственные органы, становились, как это ни странно на первый взгляд, органами крестьянской революции.

Главный земельный комитет, состоявший из чиновников, помещиков, профессоров, ученых-агрономов, эсеровских политиков, с примесью сомнительных крестьян являлся, по существу, центральным тормозом аграрной революции. Губернские комитеты не переставали быть проводниками правительственной политики. Комитеты в уездах качались между крестьянами и начальством. Зато волостные комитеты, выбиравшиеся крестьянами и работавшие тут же, на глазах села, становились орудием аграрного движения. То обстоятельство, что члены комитетов обычно причисляли себя к эсерам, не меняло дела: они равнялись по мужицкой избе, а не по дворянской усадьбе. Крестьяне особенно ценили государственный характер своих земельных комитетов, видя в нем своего рода патент на гражданскую войну.

«Крестьяне говорят, что, кроме волостного комитета, они никого не признают, – жалуется уже в мае один из начальников милиции Саранского уезда, – все же уездные и город-

ские комитеты работают-де на руку землевладельцам». По словам нижегородского комиссара, «попытки некоторых волостных комитетов бороться с самовольными действиями крестьян почти всегда оканчиваются неудачей и ведут за собой смену всего состава». «Комитеты всегда были, по словам псковского крестьянина Денисова, на стороне крестьянского движения против помещиков, так как в них же и была избрана самая революционная часть крестьянства и солдаты-фронтовики».

В уездных и особенно губернских комитетах руководила чиновничья «интеллигенция», стремившаяся сохранять мирные отношения с помещиками. «Крестьяне видели, – пишет московский крестьянин Юрков, – что это та же самая шуба, но вывернутая, та же самая власть, но переименованная». «Наблюдается, – доносит курский комиссар, – стремление... к переизбранию уездных комитетов, которые неуклонно проводят в жизнь распоряжения Временного правительства». Однако добраться до уездного комитета крестьянину было очень трудно: политическую связь сел и волостей обеспечивали эсеры, так что крестьянам приходилось действовать через партию, главная миссия которой состояла в выворачивании старой шубы.

Изумляющая на первый взгляд холодность крестьянства к мартовским советам имела на самом деле глубокие причины. Совет представляет не специальную, как земельный комитет, а универсальную организацию революции. Но в области общей политики крестьянин шагу не может ступить без руководства. Весь вопрос в том, откуда оно исходит. Губернские и уездные крестьянские советы строились по инициативе и в значительной мере на средства кооперации не как органы крестьянской революции, а как орудия консервативной опеки над крестьянством. Деревня терпела над собою правоэсеровские советы как щит против власти. У себя дома она предпочитала земельные комитеты.

Чтобы помешать деревне замкнуться в круг «чисто крестьянских интересов», правительство торопило с созданием демократических земств. Уже это одно должно было заставить мужика насторожиться. Выборы приходилось нередко навязывать. «Были случаи правонарушений, – доносит пензенский комиссар, – вследствие чего выборы срывались». В Минской губернии крестьяне арестовали председателя волостной избирательной комиссии князя Друцкого-Любецкого, обвинив его в подмене списков: нелегко было мужикам сговориться с князем о демократическом разрешении векового спора. Бугульминский уездный комиссар доносит: «Выборы в волостные земства по уезду прошли не совсем планомерно... Состав выборных гласных исключительно крестьянский, заметно отчуждение от местной интеллигенции, особенно землевладельцев». В таком виде земства немногим отличались от комитетов. «К интеллигенции и особенно к землевладельцам, – жалуется минский губернский комиссар, – отношение со стороны крестьянской массы отрицательное». В могилевской газете от 23 сентября можно прочесть: «Интеллигентская работа в деревне сопряжена с риском, если категорически не обещать содействовать немедленной передаче всей земли крестьянам». Где соглашение, даже общение между основными классами становится невозможным, там исчезает почва для учреждений демократии. Мертворожденность волостных земств безошибочно предвещала крушение Учредительного собрания.

«У местного крестьянства, – доносил нижегородский комиссар, – укрепились сознание, что все гражданские законы утратили свою силу и что все правоотношения теперь должны регулироваться крестьянскими организациями». Распоряжаясь на местах милицией, волостные комитеты издавали местные законы, устанавливали арендные цены, регулировали заработную плату, ставили в имениях своих управляющих, забирали в свои руки землю, покосы, леса, инвентарь, отбирали у помещиков оружие, производили обыски и аресты. Голос столетий и свежий опыт революции одинаково говорили мужику, что вопрос о земле есть вопрос силы. Для аграрного переворота нужны были органы крестьянской диктатуры. Мужик не знал еще этого латинского слова. Но мужик знал, чего хочет. Та «анархия», на какую жаловались

помещики, либеральные комиссары и соглашательские политики, была на самом деле первым этапом революционной диктатуры в деревне.

Необходимость создания особых чисто крестьянских органов земельного переворота на местах Ленин отстаивал еще во время событий 1905–1906 годов. «Крестьянские революционные комитеты, – доказывал он на съезде партии в Стокгольме, – есть единственный путь, которым только и может идти крестьянское движение». Мужик не читал Ленина. Но зато Ленин хорошо читал в мыслях мужика.

Деревня меняет свое отношение к советам только к осени, когда сами советы меняют свой политический курс. Большевистские и левоэсеровские советы в уездном или губернском городе уже не сдерживают крестьян, наоборот, толкают их вперед. Если в первые месяцы деревня искала у соглашательских советов легального прикрытия, чтобы затем прийти во враждебное столкновение с ними, то теперь она в революционных советах впервые стала находить настоящее руководство. Саратовские крестьяне писали в сентябре: «Власть должна перейти по всей России в руки... советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так будет надежнее». Только к осени крестьянство начинает связывать свою земельную программу с лозунгом власти советов. Но и здесь еще оно не знает, кто и как эти советы направит. Аграрные волнения имели в России свою большую традицию, свою простую, но яркую программу, своих местных мучеников и героев. Грандиозный опыт 1905 года не прошел бесследно и для деревни. К этому надо прибавить работу сектантской мысли, охватывавшей миллионы крестьян. «Я знавал, – пишет осведомленный автор, – многих крестьян, воспринявших... Октябрьскую революцию, как прямое осуществление своих религиозных чаяний». Из всех известных историй крестьянских восстаний движение русского крестьянства 1917 года было, несомненно, в наибольшей мере оплодотворено политическими идеями. Если оно тем не менее оказалось не способно создать самостоятельное руководство и взять в собственные руки власть, то причины этого заложены в органической природе изолированного мелкого и рутинного хозяйства: высасывая из мужика все соки, оно не наделяло его взамен способностью обобщения.

Политическая свобода крестьянина означает на практике свободу выбирать между разными городскими партиями. Но и этот выбор не производится априорно. Своим восстанием крестьянство толкает большевиков к власти. Но, только завоевав власть, большевики смогут завоевать крестьянство, превратив аграрную революцию в закон рабочего государства.

Группа исследователей под руководством Яковлева произвела крайне ценную классификацию материалов, характеризующих эволюцию аграрного движения от февраля к октябрю. Приняв число неорганизованных выступлений в каждом месяце за 100, исследователи подсчитали, что «организованных» конфликтов приходилось на апрель 33, на июнь – 86, на июль – 120. Это и был момент наивысшего расцвета эсеровских организаций в деревне. В августе на 100 неорганизованных конфликтов приходится уже только 62 организованных, а в октябре – всего навсего 14. Из этих цифр, чрезвычайно поучительных при всей их условности, Яковлев делает, однако, совершенно неожиданный вывод: если до августа движение становилось все более «организованным», то осенью, наоборот, оно приобретает все более «стихийный характер». К той же формуле приходит другой исследователь, Верменичев: «Снижение доли организованного движения в период предоктябрьской волны свидетельствует о стихийности движения в эти месяцы». Если стихийность противопоставлять сознательности, как слепоту зрячести, – а это есть единственно научное противопоставление, – то пришлось бы прийти к выводу, что сознательность крестьянского движения до августа повышается, а затем начинает падать, чтобы совсем исчезнуть в момент октябрьского восстания. Этого наши исследователи явно не хотели сказать. При сколько-нибудь вдумчивом отношении к вопросу нетрудно понять, что, например, крестьянские выборы в Учредительное собрание, несмотря на их внешнюю «организованность», имели несравненно более «стихийный», т. е. неразумный, стадный,

слепой, характер, чем «неорганизованный» крестьянский поход против помещика, где каждый крестьянин ясно знал, чего хочет.

На осеннем перевале крестьянство порывало не с сознательностью ради стихийности, а с соглашательским руководством ради гражданской войны. Упадок организованности имел, по существу, внешний характер: соглашательские организации отпадали, но после них оставалось вовсе не пустое место. Выход на новую дорогу происходил под непосредственным руководством наиболее революционных элементов: солдат, матросов, рабочих. Приступая к решительным действиям, крестьяне созывали нередко общее собрание и даже заботились о том, чтобы постановление было подписано всеми односельчанами. «В осенний период крестьянского движения с его разгромными формами, – пишет третий исследователь, Шестаков, – чаще выступает на сцену старый “сход” крестьян... Сходом же делит крестьянство отобранное добро, через сход ведет переговоры с помещиками и администрацией имений, с уездными комиссарами и разного рода усмирителями...»

Почему сходят со сцены волостные комитеты, которые вплотную подвели крестьян к гражданской войне, на этот счет в материалах нет прямых указаний. Но объяснение напрашивается само собою. Революция крайне быстро изнашивает свои органы и орудия. Уже вследствие того что земельные комитеты руководили полумирными действиями, они должны были оказаться малопригодны для прямого штурма. Общая причина дополняется частными, но не менее вескими. Выступая на путь открытой войны с помещиками, крестьяне слишком хорошо знали, что грозит им в случае поражения. Немало земельных комитетов и без того уже сидело у Керенского под замком. Рассредоточить ответственность становилось необходимым требованием тактики. Наиболее пригодной формой для этого являлся «мир». В том же направлении действовала, несомненно, и обычная недоверчивость крестьян друг к другу: дело шло теперь о прямом захвате и дележе помещичьего добра, каждый хотел участвовать сам, не передоверяя никому своих прав. Так высшее обострение борьбы вело к временному отстранению представительных органов первобытной крестьянской демократией в виде схода и мирского приговора.

Грубая сбивчивость в определении характера крестьянского движения должна казаться особенно неожиданной под пером большевистских исследователей. Но нельзя забывать, что дело идет о большевиках нового склада. Бюрократизация мышления неизбежно ведет к переоценке тех форм организации, какие навязывались крестьянству сверху, и недооценке тех, которые крестьянство само себе давало. Просвещенный чиновник вслед за либеральным профессором рассматривает общественные процессы под углом зрения управления. В качестве народного комиссара земледелия Яковлев проявил впоследствии тот же суммарно-бюрократический подход к крестьянству, но уже в неизмеримо более широкой и ответственной области, именно при проведении «сплошной коллективизации». Теоретическая поверхность жестоко мстит за себя, когда дело идет о практике большого масштаба!

Но до ошибок сплошной коллективизации остается еще добрых тринадцать лет. Сейчас дело идет только об экспроприации земельной собственности. 134 000 помещиков еще дрожат над своими 80 миллионами десятин. Наиболее угрожаемым является положение верхушки, 30 тысяч господ старой России, которые владеют 70 миллионами десятин, свыше 2000 десятин в среднем на владельца. Дворянин Боборыкин пишет камергеру Родзянко: «Я – помещик, и в моей голове как-то не укладывается, чтобы я лишился моей земли, да еще для самой невероятной цели: для опыта социалистических учений». Но революция и имеет задачей совершить то, что не укладывается у правящих в головах.

Более дальновидные помещики не могут, однако, не видеть, что имений им не удержать. Они уже и не стремятся к этому: чем скорее развязаться с землей, тем лучше. Учредительное собрание представляется им прежде всего как большая расчетная палата, где государство возместит их не только за землю, но и за тревожения. Крестьяне-собственники примыкали к этой

программе слева. Они не прочь были прикончить паразитическое дворянство, но опасались расшатать понятие земельной собственности. Государство достаточно богато, заявляли они на своих съездах, чтобы заплатить помещикам каких-нибудь 12 миллиардов рублей. В качестве «крестьян» они рассчитывали при этом воспользоваться на льготных условиях помещичьей землей, оплаченной за счет народа.

Собственники понимали, что размер выкупных платежей есть политическая величина, которая будет определена соотношением сил к моменту расплаты. До конца августа оставалась надежда на то, что созванное по-корниловски Учредительное собрание проведет линию аграрной реформы между Родзянко и Милюковым. Крушение Корнилова означало, что имущие классы проиграли игру.

В течение сентября и октября помещики ждут развязки, как безнадежно больной ждет смерти. Осень есть время мужицкой политики. Убраны поля, развеяны иллюзии, утрачено терпение. Пора кончать! Движение выходит из берегов, захватывает все районы, стирает местные особенности, вовлекает все слои деревни, смывает все соображения закона и осторожности, становится наступательным, неистовым, свирепым, бешеным, вооружается железом и огнем, револьвером и гранатой, сокрушает и выжигает усадьбы, изгоняет помещиков, очищает землю, кое-где поливает ее кровью.

Гибнут дворянские гнезда, воспетые Пушкиным, Тургеневым и Толстым. Дымом исходит старая Россия. Либеральная пресса собирает стенания и вопли о разрушении английских садов, картин крепостной кисти, родовых библиотек, тамбовских партенонов, скаковых лошадей, старинных гравюр, племенных быков. Буржуазные историки пытаются возложить на большевиков ответственность за «вандализм» крестьянской расправы над дворянской «культурой». На самом деле русский мужик завершал дело, начатое за много столетий до появления на свет большевиков. Свою прогрессивную историческую задачу он выполнял теми единственными способами, которые были в его распоряжении, – революционным варварством он искоренял варварство средневековья. К тому же ни сам он, ни деды его, ни прадеды никогда не видели ни милости, ни снисхождения.

Когда феодалы взяли верх над жакерией, на четыре с половиной века опередившей освобождение французских крестьян, благочестивый монах записал в своей хронике: «Они причинили столько зла стране, что не было нужды в приходе англичан для разрушения королевства; те никогда не могли бы сделать того, что сделали дворяне Франции». Только буржуазия – в мае 1871 года – превзошла по свирепости французских дворян. Русские крестьяне благодаря руководству рабочих, русские рабочие благодаря поддержке крестьян избежали этого двойного урока защитников культуры и человечности.

Взаимоотношения между основными классами России нашли свое воспроизведение в деревне. Как против монархии дрались рабочие и солдаты наперекор планам буржуазии, так против помещиков смелее всего поднималась беднота, не слушая предостережений кулака. Как соглашатели верили, что революция станет прочно на ноги лишь с момента, когда Милюков признает ее, так озирающемуся направо и налево середняку представлялось, что подпись кулака узаконяет захваты. Подобно тому, наконец, как враждебная революции буржуазия не задумалась присвоить себе власть, так кулаки, противодействовавшие разгрому, не отказались воспользоваться его плодами. Власть в руках буржуа, как и помещичье добро в руках кулака, удержались недолго – в обоих случаях в силу однородных причин.

Могущество аграрно-демократической, по существу буржуазной революции выразилось в том, что она преодолела на время классовые противоречия села: батрак громил помещика, помогая кулаку. XVII, XVIII и XIX века русской истории поднялись на плечах XX века и пригнули его к земле. Слабость запоздалой буржуазной революции выразилась в том, что крестьянская война не толкнула буржуазных революционеров вперед, а, наоборот, окончательно отбросила их в лагерь реакции: вчерашний каторжанин Церетели охранял помещичью землю

от анархии! Отброшенная буржуазией крестьянская революция смыкалась с промышленным пролетариатом. Этим самым XX век не только высвобождался из-под навалившихся на него прошлых веков, но на плечах их поднимался на новую историческую высоту. Чтобы крестьянин мог очистить и разгородить землю, во главе государства должен был стать рабочий – такова простейшая формула Октябрьской революции.

Национальный вопрос

Язык – важнейшее орудие связи человека с человеком, а следовательно, и хозяйства. Он становится национальным языком вместе с победой товарного оборота, объединяющего нацию. На этой основе складывается национальное государство, как наиболее удобная, выгодная, нормальная арена капиталистических отношений. В Западной Европе эпоха формирования буржуазных наций, если оставить в стороне борьбу Нидерландов за независимость и судьбу островной Англии, началась с Великой французской революции и в основном завершилась примерно в течение столетия, с образованием Германской империи.

Но в тот период, когда национальное государство в Европе уже перестало вмещать производительные силы и перерастало в империалистское государство, на Востоке – в Персии, на Балканах, в Китае, Индии – только еще открывалась эра национально-демократических революций, толчок которым был дан русской революцией 1905 года. Балканская война 1912 года представляла завершение формирования национальных государств на юго-востоке Европы. Последовавшая затем империалистская война попутно доделала в Европе недоделанную работу национальных революций, приведя к расчленению Австро-Венгрии, к созданию независимой Польши и пограничных государств, выделившихся из империи царей.

Россия сложилась не как национальное государство, а как государство национальностей. Это отвечало ее запоздалому характеру. На основе экстенсивного сельского хозяйства и кустарного ремесла торговый капитал развивался не вглубь, не преобразуя производство, авширь, увеличивая радиус своих операций. Торговец, помещик и чиновник продвигались от центра к периферии, вслед за расселявшимися крестьянами, которые в поисках свежей земли и свободы от поборов проникали на новые территории с еще более отсталыми племенами. Экспансия государства была в основе своей экспансией сельского хозяйства, которое, при всей своей первобытности, обнаруживало превосходство над кочевниками Юга и Востока. Сформировавшееся на этой необъятной и неизменно расширявшейся базе сословно-бюрократическое государство стало достаточно сильным, чтобы подчинять себе на Западе отдельные нации более высокой культуры, но не способные, в силу малочисленности или внутреннего кризиса, отстаивать свою самостоятельность (Польша, Литва, Прибалтика, Финляндия).

К 70 миллионам великороссов, составивших главный массив страны, прибавилось постепенно около 90 миллионов «инородцев», которые резко делились на две группы: западных, превосходящих великороссов своей культурой, и восточных, стоящих на более низком уровне. Так сложилась империя, в составе которой господствующая национальность составляла лишь 43 % населения, а 57 %, в том числе 17 % украинцев, 6 % поляков, 4 1/2 % белорусов, падали на национальности различных степеней культуры и бесправия.

Жадная требовательность государства и скудость крестьянской базы под господствующими классами порождали самые ожесточенные формы эксплуатации. Национальный гнет в России был несравненно грубее, чем в соседних государствах не только по западную, но и по восточную границу. Многочисленность бесправных наций и острота бесправия сообщали национальной проблеме в царской России огромную взрывчатую силу.

Если в национально однородных государствах буржуазная революция развивала могучие центробежные тенденции, проходя под знаменем преодоления партикуляризма, как во Франции, или национальной раздробленности, как в Италии и Германии, то в национально разнородных государствах, как Турция, Россия, Австро-Венгрия, запоздалая буржуазная революция разнуздывала, наоборот, центростремительные силы. Несмотря на видимую противоположность этих процессов, выраженных в терминах механики, их историческая функция одинакова, поскольку в обоих случаях дело идет о том, чтобы использовать национальное единство как основной хозяйственный резервуар: Германию нужно было для этого объединить, Австро-

Венгрию, наоборот, – расчленить. Неизбежность развития центробежных национальных движений в России Ленин учел заблаговременно и в течение ряда лет упорно боролся, в частности против Розы Люксембург, за знаменитый параграф 9 старой партийной программы, формулировавший право наций на самоопределение, т. е. на полное государственное отделение. Этим большевистская партия вовсе не брала на себя проповедь сепаратизма. Она обязывалась лишь непримиримо сопротивляться всем и всяким видам национального гнета, в том числе и насильственному удержанию той или другой национальности в границах общего государства. Только таким путем русский пролетариат мог постепенно завоевать доверие угнетенных народностей.

Но это была лишь одна сторона дела. Политика большевизма в национальной области имела и другую сторону, как бы противоречащую первой, а на самом деле дополняющую ее. В рамках партии и вообще рабочих организаций большевизм проводил строжайший централизм, непримиримо борясь против всякой заразы национализма, способной противопоставить рабочих друг другу или разъединить их. Начисто отказывая буржуазному государству в праве навязывать национальному меньшинству принудительное сожительство или хотя бы государственный язык, большевизм считал в то же время своей поистине священной задачей как можно теснее связывать посредством добровольной классовой дисциплины трудящихся разных национальностей воедино. Так, он начисто отвергал национально-федеративный принцип построения партии. Революционная организация – не прототип будущего государства, а лишь орудие для его создания. Инструмент должен быть целесообразен для выделки продукта, а вовсе не включать его в себя. Только централистическая организация может обеспечить успех революционной борьбы, так же и в том случае, когда дело идет о разрушении централистического гнета над нациями.

Низвержение монархии для угнетенных наций России должно было по необходимости означать и их национальную революцию. Здесь обнаружилось, однако, то же, что и во всех остальных областях февральского режима: официальная демократия, связанная своей политической зависимостью от империалистской буржуазии, оказалась совершенно неспособна разрушить старые оковы. Считая бесспорным свое право решать судьбу всех остальных наций, она продолжала ревниво охранять те источники богатства, силы, влияния, которые давало великорусской буржуазии ее господствующее положение. Соглашательская демократия лишь перевела традиции национальной политики царизма на язык освободительной риторики: дело шло теперь о защите единства революции. Но у правящей коалиции был и другой, более острый довод: соображения военного времени. Это значит, освободительные стремления отдельных национальностей изображались как дело рук австро-германского штаба. Первую скрипку и тут играли кадеты, соглашатели вторили.

Новая власть не могла, конечно, оставить в неприкосновенности отвратительный клубок средневековых издевательств над инородцами. Но она надеялась и пыталась ограничиться одним лишь упразднением исключительных законов против отдельных наций, т. е. установлением голого равенства всех частей населения перед великорусской государственной бюрократией.

Формальное равноправие больше всего давало евреям: число законов, ограничивавших их права, достигало 650. К тому же в качестве чисто городской и наиболее распыленной национальности евреи не могли претендовать не только на государственную самостоятельность, но и на территориальную автономию. Что касается проекта так называемой «национально-культурной автономии», которая должна была объединить евреев на протяжении всей страны вокруг школ и других учреждений, то та реакционная утопия, заимствованная разными еврейскими группами у австрийского теоретика Отто Бауэра, растаяла с первым днем свободы, как воск под лучами солнца.

Но революция потому и революция, что она не удовлетворяется ни подачками, ни расплатой в рассрочку. Устранение наиболее постыдных ограничений устанавливало формальное

равноправие граждан независимо от национальности; но тем острее обнаруживало неравноправное положение самих наций, оставляя большинство их на положении пасынков и приемышей великорусского государства.

Гражданское равноправие ничего не давало прежде всего финнам, которые стремились не к равенству с русскими, а к независимости от России. Оно ничего не прибавляло украинцам, которые и раньше не знали никаких ограничений, потому что их принудительно объявили русскими. Оно ничего не меняло в положении латышей и эстонцев, придавленных немецкой помещичьей усадьбой и русско-немецким городом. Оно ничем не облегчало судьбы отсталых народов и племен Азии, удерживавшихся на самом дне бесправия не юридическими ограничениями, а цепями экономической и культурной кабалы. Все эти вопросы либерально-соглашательская коалиция не хотела даже поставить. Демократическое государство оставалось тем же государством великорусского чиновника, который никому не собирался уступать свое место.

Чем более глубокие массы захватывала революция на окраинах страны, тем больше обнаруживалось, что государственный язык является там языком имущих классов. Режим формальной демократии, со свободой печати и собраний, заставил отсталые и угнетенные национальности еще болезненнее почувствовать, насколько они лишены самых элементарных средств культурного развития: своей школы, своего суда, своего чиновничества. Отсылки к будущему Учредительному собранию только раздражали: ведь в собрании будут господствовать те же партии, которые создали Временное правительство и продолжают отстаивать традиции русификаторства, обнаруживая с ревнивой жадностью ту черту, дальше которой правящие классы не хотят идти.

Финляндия сразу стала занозой в теле февральского режима. Благодаря остроте аграрного вопроса, имевшего в Финляндии характер вопроса о торпарях, т. е. мелких кабальных арендаторах, промышленные рабочие, составлявшие всего 14 % населения, вели за собою деревню. Финляндский Сейм оказался единственным в мире парламентом, где социал-демократы получили большинство: 103 из 200 депутатских мест. Провозгласив законом 5 июня Сейм суверенным, за изъятием вопросов армии и внешней политики, финляндская социал-демократия обратилась «к товарищеским партиям России» за поддержкой. Обращение оказалось направлено совсем не по адресу. Временное правительство сперва отошло к стороне, предоставив действовать «товарищеским партиям». Увещательная делегация во главе с Чехидзе вернулась из Гельсингфорса ни с чем. Тогда социалистические министры Петрограда – Керенский, Чернов, Скобелев, Церетели – решили насильственно ликвидировать социалистическое правительство Гельсингфорса. Начальник штаба Ставки монархист Лукомский предупредил гражданские власти и население Финляндии, что в случае каких-либо выступлений против русской армии «их города, и в первую очередь Гельсингфорс, будут разгромлены». После этой подготовки правительство торжественным манифестом, представлявшим даже в стилистическом отношении плагиат у монархии, распустило Сейм и в день начала наступления на фронте поставило у дверей финляндского парламента снятых с фронта русских солдат. Так революционные массы России получили на пути к Октябрю неплохой урок насчет того, какое условное место занимают принципы демократии в борьбе классовых сил.

Перед лицом националистической разнузданности правящих революционные войска в Финляндии заняли достойную позицию. Областной съезд советов, происходивший в Гельсингфорсе в первой половине сентября, заявил: «Если финляндская демократия найдет нужным возобновить заседания Сейма, то всякие попытки учинить препятствие к этому съезду будет рассматривать как акт контрреволюционный». Это означало прямое предложение военной помощи. Но стать на путь восстания финляндская социал-демократия, в которой преобладали соглашательские тенденции, не была готова. Новые выборы, происходившие под угрозой нового роспуска, обеспечили буржуазным партиям, по соглашению с которыми правительство и распустило Сейм, небольшое большинство: 108 из 200.

Но теперь на первое место выдвигаются внутренние вопросы, которые в этой Швейцарии Севера, стране гранитных гор и жадных собственников, неотвратимо ведут к гражданской войне. Финляндская буржуазия полуоткрыто готовит свои военные кадры. Одновременно создаются тайные ячейки Красной гвардии. Буржуазия за оружием и инструкторами обращается в Швецию и Германию. Рабочие находят поддержку в русских войсках. Вместе с тем в буржуазных кругах, вчера еще склонных к соглашению с Петроградом, усиливается движение за полное отделение от России. Руководящая газета «Хувудстатсбладет» писала: «Русский народ одержим анархической разнузданностью... не должны ли мы при таких условиях... по возможности отделиться от этого хаоса?» Временное правительство увидело себя вынужденным пойти на уступки, не дожидаясь Учредительного собрания: 23 октября принято было «в принципе» положение о независимости Финляндии, за изъятием военных и внешних дел. Но «независимость» из рук Керенского уже немногого стоила: до его падения оставалось два дня. Второй, несравненно более глубокой занозой стала Украина. В начале июня Керенский запретил созывавшийся Радой украинский войсковой съезд. Украинцы не подчинились. Чтобы спасти лицо власти, Керенский легализовал съезд задним числом, прислав широковещательную телеграмму, которую съехавшиеся встретили непочтительным смехом. Горький урок не помещал Керенскому запретить через три недели мусульманский военный съезд в Москве. Демократическое правительство как бы торопилось внушить недовольным нациям: вы получите только то, что вырвете.

В изданном 10 июня первом «Универсале» Рада, обвиняя Петроград в противодействии национальной самостоятельности, провозглашала: «Отныне сами будем творить нашу жизнь». Кадеты третировали украинских руководителей как германских агентов. Соглашатели обращались к украинцам с сентиментальными увещаниями. Временное правительство направило в Киев делегацию. В нагретой украинской атмосфере Керенский, Церетели и Терещенко оказались вынуждены сделать несколько шагов навстречу Раде. Но после июльского разгрома рабочих и солдат правительство повернуло руль направо также и в украинском вопросе. 5 августа Рада подавляющим большинством обвинила правительство в том, что оно, будучи «проникнуто империалистическими тенденциями русской буржуазии», нарушило соглашение от 3 июля. «Когда правительство должно было оплатить свой вексель, – заявлял глава украинской власти Винниченко, – выяснилось, что Временное правительство... есть мелкий плут, который своим мошенничеством хочет уладить великую историческую проблему». Этот недвусмысленный язык достаточно характеризует авторитет правительства даже в тех кругах, которые политически должны были быть ему достаточно близки: в конце концов украинский соглашатель Винниченко отличался от Керенского лишь как посредственный романист от посредственного адвоката.

Правда, в сентябре правительство издало наконец акт, который признавал за национальностями России – в рамках, какие будут указаны Учредительным собранием, право на «самоопределение». Но этот ничем не гарантированный и внутренне противоречивый вексель на будущее, крайне неопределенный во всем, кроме своих ограничений, никому не внушал доверия: дела Временного правительства уже слишком громко вопияли против него. 2 сентября Сенат, тот самый, который не допускал на свои заседания новых членов без старого мундира, постановил отказать в опубликовании утвержденной правительством инструкции украинскому Генеральному секретариату, т. е. киевскому кабинету министров. Основание: о секретариате не существует закона, а нелегальному учреждению нельзя давать инструкций. Высокие юристы не скрывали, что самое соглашение правительства с Радой является узурпацией прав Учредительного собрания: наиболее непреклонными сторонниками чистой демократии успели стать царские сенаторы. Проявляя столько храбрости, оппозиционеры справа ровно ничем не рисковали: они знали, что их оппозиция как нельзя больше придется правящим по душе. Если русская буржуазия мирилась еще с известной самостоятельностью Финляндии, связанной лишь

слабыми экономическими узами с Россией, то она никак не могла согласиться на «автономию» украинского хлеба, донецкого угля и криворожской руды.

19 октября Керенский приказал по телеграфу генеральным секретарям Украины «безотлагательно выехать в Петроград для личных объяснений» по поводу поднятой ими преступной агитации за украинское Учредительное собрание. Одновременно киевской прокуратуре предложено было начать следствие над Радой. Но громы по адресу Украины так же мало пугали, как мало радовали милости по адресу Финляндии.

Украинские соглашатели чувствовали себя в это время еще несравненно устойчивее, чем их старшие двоюродные братья в Петрограде. Помимо той благоприятной атмосферы, которою окружала их борьба за национальные права, относительная устойчивость мелкобуржуазных партий Украины, как и ряда других угнетенных наций, имела экономические и социальные корни, которые можно определить одним словом: отсталость. Несмотря на быстрое промышленное развитие Донецкого и Криворожского бассейна, Украина в целом продолжала идти позади Великороссии, украинский пролетариат был менее однороден и закален, большевистская партия оставалась количественно и качественно слабой, медленно отделялась от меньшевиков, плохо разбиралась в политической и особенно в национальной обстановке. Даже в промышленной Восточной Украине областная конференция советов в середине октября все еще дала небольшое соглашательское большинство! Относительно еще слабее была украинская буржуазия. Одна из причин социальной неустойчивости российской буржуазии, взятой в целом, состояла, как мы помним, в том, что наиболее могущественную часть ее составляли иностранцы, даже не жившие в России. На окраинах этот факт дополнялся другим, не меньшего значения: своя, внутренняя буржуазия принадлежала не к той нации, что главная масса народа.

Население городов на окраинах сплошь отличалось по национальному составу от населения деревень. На Украине и в Белоруссии помещик, капиталист, адвокат, журналист – великоросс, поляк, еврей, иностранец; деревенское же население – сплошь украинцы и белорусы. В Прибалтике города были очагами немецкой, русской и еврейской буржуазии; деревня – сплошь латышская и эстонская. В городах Грузии преобладало русское и армянское население, как и в тюркском Азербайджане. Отделенные от основной народной массы не только уровнем жизни и нравами, но и языком, точно англичане в Индии; обязанные защитой своих владений и доходов бюрократическому аппарату; неразрывно связанные с господствующими классами всей страны, помещики, промышленники и торговцы на окраинах группировали вокруг себя узкий круг русских чиновников, служащих, учителей, врачей, адвокатов, журналистов, отчасти и рабочих, превращая города в очаги русификации и колонизаторства.

Деревни можно было не замечать до тех пор, пока она молчала. Однако и после того как она все нетерпеливее начала подавать свой голос, город продолжал упорно сопротивляться, отстаивая свое привилегированное положение. Чиновник, купец, адвокат скоро научились прикрывать свою борьбу за командные высоты хозяйства и культуры высокомерным осуждением пробуждающегося «шовинизма». Стремление господствующей нации удержать *status quo* нередко окрашивается в цвета сверхнационализма, как стремление победоносной страны удержать награбленное добро принимает форму пацифизма. Так, Макдональд перед лицом Ганди чувствует себя интернационалистом. Так, тяга австрийцев к Германии представляется Пуанкаре оскорблением французского пацифизма.

«Люди, живущие в городах Украины, – писала в мае делегация киевской Рады Временному правительству, – видят пред собою обрусевшие улицы этих городов... совершенно забывают о том, что эти города – только маленькие островки в море всего украинского народа». Когда Роза Люксембург в своей посмертной полемике с программой октябрьского переворота утверждала, что украинский национализм, бывший ранее лишь «забавой» дюжины мелкобуржуазных интеллигентов, искусственно поднялся на дрожжах большевистской формулы само-

определения, то она, несмотря на свою светлую голову, впадала в тягчайшую историческую ошибку: украинское крестьянство не выдвигало в прошлом национальных требований по той причине, по которой оно вообще не поднималось до политики. Главная заслуга Февральского переворота, пожалуй, единственная, но вполне достаточная, в том именно и состояла, что он дал наконец возможность наиболее угнетенным классам и нациям России заговорить вслух. Политическое пробуждение крестьянства не могло, однако, произойти иначе, как через родной язык, со всеми вытекающими отсюда последствиями относительно школы, суда, самоуправления. Противиться этому значило бы пытаться вернуть крестьянство в небытие.

Национальная разнородность города и деревни болезненно давала о себе знать и через советы как преимущественно городские организации. Под руководством соглашательских партий советы сплошь да рядом игнорировали национальные интересы коренного населения. В этом была одна из причин слабости советов на Украине. Советы Риги и Ревеля забывали об интересах латышей и эстонцев. Соглашательский Совет в Баку пренебрегал интересами основного тюркского населения. Под фальшивым знаменем интернационализма советы вели нередко борьбу против оборонительного украинского или мусульманского национализма, прикрывая угнетательское русификаторство городов. Немало еще пройдет времени и при господстве большевиков, прежде чем советы на окраинах научатся говорить на языке деревни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.